

УДК 821.161.1-1(Введенский А.)
ББК Ш33(2Рос=Рус)6-8,445

ГСНТИ 17.07.29

Код ВАК 10.01.01

Д. С. Московская
Москва, Россия

ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ ПОЭМЫ АЛЕКСАНДРА ВВЕДЕНСКОГО «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»

Аннотация. Обэриуты, Даниил Хармс и Александр Введенский экспериментировали со словом и сделали частью своей поэтической программы отказ от дискурсивности. Непостижимость авангардного текста канонизировалась культом авангарда. Однако научный подход требует вписать обэриутов в историко-литературный процесс времени. Ближайшим контекстом творчества Введенского является его принадлежность к кругу почитателей Велимира Хлебникова. В свете историко-литературного подхода поэма «Минин и Пожарский» связана с историософией В. Хлебникова. Н. Степанов указал на важный для Хлебникова фактор народа и его языка в истории, на богатство корней российского прошлого в его связях с Востоком, что позволило исследователю говорить о своеобразной версии славянофильства Хлебникова. Хлебниковская традиция позволяет установить горизонты социальной полемики поэмы Введенского, которая была создана в канун 10-летия Советской власти. На это время приходится вершина нэпа, торжество культурничества и борьбы за новый быт. Ее итогом, по замыслу Троцкого, должно было стать уничтожение национального бытового уклада, национальной культуры и всеобщая унификация на западный манер как требование новой советской цивилизации. Вслед за Хлебниковым Введенский избирает в русской истории ее поворотные точки и сравнивает их с современной историей. Таким историческим событием предоставляется ему эпоха второй русской Смуты. В изображении героев Смутного времени Введенский ориентировался на историографию XIX века. Внутренняя хронология поэмы соединяет события трех войн, 1612, 1709, 1812 годов и Гражданской войны в России, которые сливаются в мощный национально-патриотический и гражданский аккорд. Его символическим выразителем в поэме стал памятник Мартоса на Красной площади. В нумерологии Введенского прослеживаются хлебниковские поиски исторических закономерностей, его Доски судеб. Поэт выстраивает ассоциативную цепочку, ведущую читателя через пушкинские военно-исторические тексты, «Полтаву», «Пугачева», «Капитанскую дочку», к текстам современным — к есенинско-хлебниковскому «Пугачеву». Поэма обретает новый исторический маркер, означающий трагедию революции, трагедию казачества, трагедию русской патриархальной крестьянской страны. Поэма Введенского — еще одна характерная черта своеобразия русского футуризма с его ориентацией на национальную культуру и ценности, которые найдут вскоре отражение в журнале «Новый Лэф».

Ключевые слова: историко-литературный процесс; авангард; историография; исторический нарратив; славянофильство; национальная культура; русские поэты; поэтическое творчество; поэмы.

D. S. Moskovskaya
Moscow, Russia

THE HISTORICAL NARRATIVE OF THE POEM BY ALEXANDER VVEDENSKY «MININ AND POZHARSKY»

Abstract. Oberiuts, Daniil Kharms and Alexander Vvedensky experimented with the word and made part of their poetic program a rejection of discursiveness. The incomprehensibility of the avant-garde text was canonized by the cult of the avant-garde. However, the scientific approach requires to find the place of oberiuts heritage in the historical and literary process of the time. The closest context of Vvedensky's work is his belonging to the circle of admirers of Velimir Khlebnikov. In the light of the historical-literary approach, the poem «Minin and Pozharsky» is connected with the historiography of V. Khlebnikov. N. Stepanov pointed to the important factor for Khlebnikov of the national language and history, the richness of the roots of the Russian past in its connections with the East, which enables the researcher to talk about a peculiar version of Khlebnikov's Slavophilism. The Khlebnikov tradition allows us to establish horizons of social polemics of the Vvedensky poem, which was created on the eve of the 10th anniversary of the revolution. That was the time of NEP, the triumph of the struggle for a new way of life. Its outcome, according to Trotsky's plan, was the destruction of the national way of life, the national culture and universal unification in the Western manner as a demand for a new Soviet civilization. Following Khlebnikov, Vvedensky selects the turning points in Russian history and compares them with modern history. In the depiction of the heroes of «Smutnoye vrema» Times, Vvedensky was guided by the historiography of the nineteenth century. The internal chronology of the poem combines the events of three great wars, 1612, 1709, 1812 and the Civil War, which merged into a powerful, national-patriotic accord. His symbolic hero is the Martos monument of Minin and Pozharsky on the Red Square. The poem is based on associative chain that guides the reader through Pushkin's military-historical texts, «Poltava», «Pugacheva», «The Captain's Daughter», and modern texts by Yesenin and Khlebnikov. The poem finds a new historical marker, signifying the tragedy of the revolution, the tragedy of the Cossacks, the tragedy of the Russian patriarchal peasant country. The Vvedensky poem is a new characteristic feature of the Russian futurism oriented to the national culture and values, which will soon be reflected in the journal «New Lef».

Keywords: historical and literary process; avant-garde; historiography; historical narrative; Slavophilism; national culture; Russian poets; poetry writing; poems.

Обэриуты (ранее самоназвание — чинари, Даниил Хармс и Александр Введенский [Васильев 2000: 140], экспериментировавшие со «словом, изображением, предметом и действием» [Васильев 2000: 139]), сделали частью своей поэтической программы отказ от дискурсивности: «Ни эмоций, ни смысла в искусстве не признаю. Единственно положительной до конца остается бессмыслица» [Вве-

денский 2011: 432], «вы будете утверждать, что наши сюжеты “нереальны” и “нелогичны”? А кто сказал, что “житейская” логика обязательна для искусства?» [Заболоцкий 2000: 476–477]. Введенский ограждал себя и других от соблазна с позиции точных законов, мер и объективности подходить к художественному творчеству: «Я читаю Вересаева о Пушкине. Интересно, как противоречивы свидетель-

ские показания даже там, где не может быть места субъективности. Это не случайные ошибки. Сомнительность, неукладываемость в наши логические рамки есть в самой жизни» [Липавский 2013: 645].

Непостижимость и «непроницаемость» [Стяновский 2012: 140] авангардного текста канонизировались во многом благодаря взятому рядом исследователей курсу на укрепление культа авангарда, который они не считали нужным дополнить традиционным научным анализом [Панова 2017: 12]. Так повелось изначально, когда первый публикатор стихов репрессированного чинаря Александра Введенского М. Мейлах отговаривал исследователей от перекодировки его «бессмыслицы» в содержательные высказывания [Мейлах 1993: 25–26]. Авторитетный обэриутовед А. Герасимова — сторонница эзотеричности (иероглифичности) текстов Введенского: в них, как она утверждает, «практически не отражены обстоятельства и события его внешней жизни, даже “духовной”» [Введенский 2013: 663].

Но несмотря на эти сознательные помехи рациональному подходу к авангардному эксперименту, читатель не оставлял попыток семантизировать «заумь». Герменевтическую потребность испытали члены Ленинградского Союза поэтов, куда Введенский стремился вступить в 1924 г. «Видно, что это далеко не детский лепет», — отмечал А. Крайский. «Балаган из слов искателя “лефовских” приключений», — был вердикт А. Туфанова. «Косноязычие Введенского рассчитано на введение в заблуждение», — заключил Н. Тихонов [Введенский 2013: 732–733]. Позже, концептуализируя поэтику Введенского в Декларации ОБЭРИУ, Заболоцкий отнюдь не отказывал ей в способности доносить смыслы, напротив, он акцентировал прием раздробления реальности на куски и создания видимости «бессмыслицы». Я. Друскин, первый осмысливший семиотичность текста Введенского, отмечал в отношении поэмы «Что. Где. Когда»: «текстовая семантика здесь настолько ясна и прозрачна, что субтекстовую бессмыслицу замечаешь только при внимательном и тщательном анализе» [Введенский 2011: 418]. В другом месте, комментируя «Элегию», он пишет о «крайне усложненной метафоре», которая «еще не бессмыслица» [Введенский 2011: 416].

Не только «герменевтический соблазн», но также научный подход требует от литературоведов вписать обэриутов в историко-литературный процесс времени, что, как можно предположить, сотрет налет непостижимости на их наследии. Задача эта по-прежнему актуальна: в то время как разыскания пребывающих в рассеянии чинарских текстов, по-видимому, близятся к завершению, само обэриутоведение не перешагнуло стадии собирания и публикации текстов и не предложило научного издания произведений, например, Введенского, с традиционным вдумчивым историко-текстологическим и реальным комментарием. Аура неприкосновенности по-прежнему окружает «чинаря-авторитета бессмыслицы», и лишь немногие заявляют о желании преодолеть «принципиальное непонимание» его стихов и заявляют о необходимости «создать тот реальный синхронный слой», в котором они были созданы и функционировали [Кацис 2004: 680].

В то же время уже почти полвека назад требование историзации и контекстуализации в отношении творчества «отца» русского поэтического авангарда Хлебникова прозвучало из уст его современника Н. Степанова. Лично знакомый с поэтом он решал вопрос о зауми Хлебникова со всей определенностью: «подавляющее большинство произведений Хлебникова не “заумно”, а точно соотносится с реальными явлениями действительности, сохраняет идейный смысл» [Степанов 1975: 6]. В своем обобщающем труде он заявлял о необходимости рассматривать будетлянина «в историко-литературной перспективе, определяя место Хлебникова в литературном процессе, в формировании советской литературы первых послеоктябрьских лет» [Степанов 1975: 5]. Безусловное знание Степановым теории вопроса и его живая память о поэте позволяют принять указание этого литературоведа как руководство к практической исследовательской деятельности.

Предметом нашего рассмотрения станет «некоторое количество разговоров», составивших текстовую плоть поэмы «Минин и Пожарский» (1926). Ее фрагмент был опубликован в сборнике Ленинградского Союза поэтов вскоре после вступления в него Введенского, и этой публикацией началась и закончилась его карьера как автора «взрослых» стихов.

Приведенные выше оценки стихов Введенского свидетельствуют, что многие поняли их как послание, которое попытались осмыслить. В отзыве Н. Тихонова многозначительно прозвучало имя недавно умершего Хлебникова: «Мне кажется, что Введенский нарочно пишет так, вырабатывая что-то. Это что-то нам еще не доходит до сознания в целом, но кусками воспринимается как хлебниковская звуковая нить» [Введенский 2013: 732–733]. Как указал Б. М. Гаспаров, возможности разнообразного понимания высказывания неистощимы, но границы понимания обозначены осознанием сообщения как «текста» [Гаспаров 1996: 327]. Процесс смыслообразования в рамках текста ведет во все расширяющееся поле тематических, жанровых, эмоциональных воспоминаний. Последние сопряжены с разнообразными бытовыми, биографическими, культурными, социально-политическими реалиями. Они составляют основание смысла художественного послания. Обращаясь к наследию Введенского, мы можем утверждать, что важнейший смысловой центр его поэтических авангардных «посланий» образует память о принадлежности к кругу почитателей Велимира Хлебникова, которую упомянул Н. Тихонов. На Хлебникова равнялся А. Туфанов, глава ордена заумников, в котором чинари принимали деятельное участие. С Хлебниковым сравнивал Введенского Михаил Кузмин, считая последнего талантливее будетлянина. «Ногу на ногу заложив / Велимир сидит. Он жив», — писал Хармс на смерть Хлебникова в 1926 г. — в тот год, когда он особенно дружески сошелся с Введенским и был неразлучен с ним. Напомним также суждение Л. Я. Гинзбург, отмечавшей похожесть Хармса и Хлебникова [Лощилов 2012: 254]. Позже, задумав авангардный сборник «Ванна Архимеда», обэриуты заботились о том, чтобы включить в его состав стихи гениального Хлебникова. Таким образом, личность и творчество почившего по-

эта — важнейший «вспоминательный» и эмоциональный фон для автора «Минина и Пожарского».

В статье «О природе слова», написанной в 1922 г., Мандельштам развивал мысль о живой, демократической, «мирской речи» Хлебникова, которую он уподобил языку «Слова о полку Игореве», противостоящей письменной интеллигентской речи [Арензон 2012: 168]. Вслед за Мандельштамом, другой современник поэта Степанов наметил столь же «мирские», народные, неписьменные перспективы хлебниковского историзма. Он отмечал присущее поэту «слияние поэтического сознания с отдаленным прошлым» [Степанов 1975], с мифологическим национальным образом мира. В его исследовании есть указание на широту вневременных ассоциаций Хлебникова, сопрягавшего в своих «Досках судеб» прошлое с настоящим в поисках закономерных повторов событий. Степановым были впервые вычленены аксиологические доминанты поэзии Хлебникова — связь национального величия и падения с отходом от веры отцов, от природы и язычества. Он указал на всеобъемлющий для Хлебникова фактор народа и его языка в истории, на богатство корней российского прошлого в его связях с Востоком, что позволило исследователю говорить о своеобразной версии славянофильства Хлебникова («славянщины» [Лошилов 2012: 253]) в противостоянии западничеству.

Степанов также проследил связь Хлебникова с национальными образами мира в русской классике, прежде всего у Гоголя, с трудами историков Д. Мордовцева и В. Ключевского, с характерным для них федералистским и этнографическим уклоном, и фольклором. Из этих источников, по его мнению, в творчество Хлебникова пришли темы и сюжеты народных волнений и национально-патриотических подъемов Смутного времени, разинщины, пугачевщины.

Важным наблюдением Степанова стала мысль о неприятии поздним Хлебниковым эпохи нэпа. Опубликовано 5 марта 1922 г. в «Известиях» вместе со стихотворением Маяковского «Прозаседавшиеся» хлебниковское «Не шалить!»: «Эй, молодчики-купчики, / Ветер в голове! / В пугачевском тулупчике я иду по Москве!» указывает на положительный полюс хлебниковской критики текущей политики, ориентированный на народную стихию, пугачевщину, не только в пушкинской, но и в есенинской литературной традиции.

Последнее наблюдение позволяет установить горизонты социальной полемики поэмы «Минин и Пожарский», созданной в июле 1926 г.

На это время приходится вершина нэпа, торжество культурничества и борьбы за новый быт, объявленных Л. Троцким в 1923 г. Ее итогом, по замыслу Троцкого, должно было стать уничтожение национальной бытовой уклада, национальной культуры и всеобщая унификация на западный манер как требование новой советской цивилизации.

Канун 1926 г. был отмечен сокрушительным разгромом ленинградской оппозиции, а вслед за тем и всей ленинградской культурной автономии. Предшествующий, 1925 г., стал итоговым для патриархального дворянско-крестьянского уклада «петер-

бургского периода» русской истории. Ленинградская «Красная газета» прощалась со «старым бытом», празднуя юбилей 1905 года ироничной републикацией царского манифеста «о свободах» и провожая покончившего с собой в Ленинграде «последнего певца деревни»: «Вчера в Ленинграде умер Сергей Есенин, родившийся в семье крестьян-раскольников Рязанской губернии» [Красная газета 1925, 29 декабря, 5]. На эти события не мог не отреагировать Введенский. Его авангардизм не мешал ему водить дружбу с Н. Клюевым, дорожить встречами с А. Ахматовой. Напомним также и о попытках Введенского и Хармса в 1926 г. принять деятельное участие в вечере памяти Есенина, посвятившего немало строк любимому Введенским Петербургу и покончившему с собой в бывшей столице русской империи.

Классическое прошлое русской литературы, испытывавшей прививку западного культурного начала и породившей великих национальных писателей, и наследие недавно почившего Хлебникова служили Введенскому «трамплином» для еще возможного в 1926 г. вызова «медному всаднику» русской жизни и его традиционному стремлению «Россию вздернуть на дыбы». А события внелитературной жизни представляли поэту массу яркого социального материала по актуальной теме строительства нового советского быта. Вслед за Хлебниковым Введенский избирает в русской истории ее поворотные точки, вопрошая события прошлого и закольцовывая их с настоящим. Наиболее благоприятный для этой цели материал представляет ему эпоха второй русской Смуты.

Как отмечают современные историографы, «ни один политический режим в нашей стране, начиная с XVIII в. не мог равнодушно отставить в сторону сюжет российской истории, связанный с народной инициативой по преодолению социокультурного кризиса, утверждению новой династии и борьбы с польско-литовскими интервентами. Данный текст относится к числу рассказов, которые укрепляют идентичность “мы-группы”, которые, так или иначе, представляют на обозрение Минина, Пожарского и ополчение 1611–1612 гг., дабы дистанцироваться от “они-группы”» [Кузнецов, Морохин [http](http://)].

«Мы-группу» традиционно составляли те, кто не был равнодушен к теме сохранения государственности и исторических границ России, а также утверждения на российском престоле Романовых. Все эти значимые государствообразующие события концентрировались вокруг фигуры Минина и Пожарского и приковывали внимание историографов Смутного времени в эпоху империи. Показательно, что интерес к фигуре Минина и Пожарского в 1930-е годы почти сошел на нет и вновь вернулся в ситуации национального кризиса — в эпоху Великой Отечественной войны. В этом возвращении явил себя еще один аспект национального мифа о Минине — умение России сплотиться, когда угроза национальной целостности и безопасности требовала мобилизации сил общества. «Миф» Смутного времени пережил взлет в начале XIX в., когда внешняя политика России требовала внимания к национальной безопасности. Одна за другой увидели свет «историческое представление» Г. Р. Державина

«Пожарский, или Освобождение Москвы», поэмы С. Глинки «Пожарский и Минин, или Пожертвования россияны», С. Ширинского-Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия», трагедия М. Крюковского «Пожарский» [Зорин 1999]. Новый этап освоения подвига ополчения во многом определил характер отечественной историографии и трактовки источников по Смутному времени. Годы Отечественной войны лишь укрепили значение подвига ополченцев, связавшего царскую волю к сопротивлению против иноземного нашествия с национальными чувствами народа. Установленный в 1818 г. на Красной площади в Москве монумент Минину и Пожарскому работы скульптора И. Мартоса воспринимался как итог Отечественной войны и стал центральным пластическим образом, в котором сконцентрировалась национальная историческая память и нашла свое пластическое воплощение. С этой «аурой» «истинной великости духа Россияны» (Г. Р. Державин «Пожарский, или Освобождение Москвы»), унаследованной от историографии имперской России, события и герои Смутного времени вступили в пореволюционную эпоху — эпоху Гражданской войны и нэпа. И всякий, обратившийся к этим событиям и героям, неизбежно вступал в дружеское или враждебное взаимодействие с исторической традицией их восприятия.

Характер отношения к указанной традиции мы попытаемся проследить в поэме Введенского «Минин и Пожарский».

Прежде всего, мы обнаружим, что в ней нет ни одного «живого» персонажа — все покойники, что напоминает хлебниковский образ цивилизации как смешения мертвых вещей и мертвых людей. В поэме свободно сосуществуют разные временные пласты и характерные для различных эпох исторические и литературные герои.

Внутренняя хронология поэмы снизу ограничена эпохой Петра I, Полтавской битвой. Крайней верхней датой можно считать Гражданскую войну. Среди героев фигурирует князь Александр Данилович Меньшиков, сподвижник Петра, который во многом предопределил победу русской армии в Полтавском сражении 27 июня 1709 г. Пушкин — еще один идеологический, ценностный маркер поэмы — назвал его в своей поэме «Полтава» счастьем баловнем безродным, полудержавным властелином. Через историческую фигуру Меньшикова протягивается в поэме Введенского государственная, военно-оборонительная линия к Пушкину и к победам России в ее борьбе с западным влиянием.

Появляется в поэме и второй Меньшиков, правнук Александра Даниловича Александр Сергеевич, также послуживший России, но уже спустя столетие. Этот Меньшиков указывает еще на одну историческую дату, Отечественную войну 1812 года, войну с Наполеоном. О ней также напоминает имя Ермолова, которое мы встретим в поэме.

Три войны, следующие со столетним промежутком, 1612, 1709, 1812 годов, сливаются в мощный, исполненный национально-патриотического, гражданского пафоса аккорд. Его символическим выразителем стали Минин и Пожарский — исторические деятели,

национальные герои и... памятник Мартоса на Красной площади. Сочетание / пересечение в поэме хронологических пластов трех великих российских религиозно-освободительных, общенародных войн с Западом словесно иллюстрирует символическое содержание рельефов в гранях постамента памятника Минину и Пожарскому, скульптурной группы, возведенной после окончания Отечественной войны в самом центре Красной площади, в сердце Москвы.

«Где же мой башлык. О Пушкин, Пушкин» [Введенский 1993: 46], — восклицает как бы некто Греков. Этим возгласом Введенский переносит читателя вперед на одно столетие, последовавшее после установки памятника героям нижегородского ополчения на Красной площади, — в роковой 1918 год. В поэме возникает еще одна, четвертая дата, еще одна война, теперь уже не отечественная, а гражданская. В нумерологии Введенского прослеживаются хлебниковские поиски исторических закономерностей, его Доски судеб.

На восклицание Грекова откликается Машинист паровоза: «глядел и я на твой башлык / на нем звездами выткан штык» [Введенский 1993: 46].

Башлык был официально введен в русскую армейскую форму во время сербско-турецкой войны. С его упоминанием в поэме появляется еще один значимый маркер — религиозно-освободительная народная война с участием русских солдат-добровольцев, излюбленная Хлебниковым тема всеславянского единства. В то же время, башлык — это традиционная одежда казаков в непогоду. У Введенского этот башлык проткнут штыком, оставившим в нем кровавую метку в форме красноармейской звезды.

Поэт выстраивает ассоциативную цепочку, ведущую читателя через пушкинские военно-исторические тексты, «Полтаву», «Пугачева», «Капитанскую дочку», к текстам современным — к есенинско-хлебниковскому «Пугачеву». Далее авторская ремарка сообщает: «Уральская местность. Ад», откуда в июле 1774 г. Пугачев ушел за Волгу. Есенинский «Пугачев», как убедительно показала Н. И. Шубникова-Гусева, имел своим реальным источником трагедию антоновщины, крестьянскую Вандею на Тамбовщине. В этом контексте реплика Машиниста «глядел и я на твой башлык / на нем звездами выткан штык» приобретает конкретно-исторический смысл, а поэма обретает новый исторический маркер, означающий трагедию революции, трагедию казачества, трагедию русской патриархальной крестьянской страны.

Сцена с «Уральской местностью» заключается записью «конец совести», открывающей пятое явление, где действуют герои гоголевского «Ревизора» Марья Антоновна и Городничий. Их бессмысленный разговор прекращает «полуубитый Минин», вспоминающий, как Дон катил свою *вспотевиую волну*, и казака-рыбака. Минин обращается к нему, тороя топить свой улов, потому что на волжский «вал нисходят словари / латышские французские / литовские ирландские / собачьи посмешища» [Введенский 1993: 58].

Поэму завершает Пожарский своим заумным монологом. В нем являются «погорельцы», которыми

«села волжские гордились», «божеские люди» с исполосованными спинами, которые «вот вновь» проснутся... В указанном есенинским Пугачевым контексте это очевидное напоминание о чудовищном голоде в Поволжье 1920–21 годов. С «утеса полкового» на них взирает некто «Тарас», которому весь этот «Божеский шпинат» с *исполосованными спинами* кричит: «отец! Мундштук!» [Введенский 1993: 62].

Монолог Пожарского завершается словами, где поминаются: «дворяне в мраке столбовом», «молчаливые, гонимые пашни», «тихий оболганный купол» церкви и «слезы знатного и свицкого» — эвфемизм, скрывающий Пожарского и Минина. Они в качестве заглавных и действующих персонажей проходят дружно сквозь всю поэму — но это не столько люди, скорее памятник. У них «горят покойным медом лбы», они «холмом лежат как смерть бесстрашны» [Введенский 1993: 61], их бронзово-латунные глаза, обращенные к событиям недавней современности, к Гражданской войне, «ржавеют», вероятно, от слез. Напомним, что поэма «Минин и Пожарский» была своего рода «юбилейной»: в 1926 г. страна готовилась торжественно и масштабно встретить десятилетие советской власти.

Минин косноязычно вздыхает о своем бессилии: «как жирен памятник пучок земли» [Введенский 1993: 46], «а Боже мой какой в плечах-то зуд / как в пятках-то щекотно мне» перед лицом «мамзелей» и «неметчины вокруг» [Введенский 1993: 46]. Пожарский огорчается отсутствием вооружения: «что шашка лысая моя» [Введенский 1993: 46].

Поэма Введенского «Минин и Пожарский» своим образным кругом напоминает нам исторические работы Ключевского и Соловьева с их идеей государствообразующей роли бассейнов рек. Обращаясь к событиям Смутного времени, Введенский напоминает о геоисторическом прошлом волжского региона. Он предстает как государствообразующая сила, военно-оборонительная, общенациональная, утопически цельная, как место памяти, где монархия была избрана, освящена и сохранена волей народа. В лице Тараса Бульбы и героев Полтавской и Бородинской битвы, участников сербско-турецкой войны у Введенского намечено противостояние новой «Московии», уже не сопротивляющейся, но заигрывающей с Западом. Волга — это напоминание о восстании Пугачева, читай Антонова и антоновщины, против дикой тирании власти и Разина — читай казачества, о котором Введенский напоминает словами: «где плакал Разин шерстью псов / запоминая жесть псалмов». Чеканными строками «плакал Разин шерстью псов...» [Введенский 1993: 56] Введенский отсылает к обстоятельствам злой смерти казака, запомнившимся свидетелям-современникам, к его последним словам, окорачивающим испуганного брата Фролку: «Молчи, *собака!*», к последнему издевательству над бунтовщиком, чье тело было брошено «*собакам* на съедение».

Исторический нарратив Введенского в преддверии юбилейных для Советской власти торжеств следует ценностным доминантам историографии Смутного времени XIX в. и ориентирован на творческое наследие Хлебникова и его историософию. Поэма Введенского — еще одна характерная черта

своеобразия русского футуризма с его ориентацией на национальную культуру и ценности, которые вскоре найдут отражение в публицистике и художественном творчестве «Нового Лефа».

ЛИТЕРАТУРА

Арензон Е. Р. «Хлебниковское» у Мандельштама // Велимир Хлебников в новом тысячелетии. — М.: ИМЛИ РАН, 2012. — С. 165–182.

Александр Введенский. «СЕЛЬСКИЙ И ЗАБЕЛ аНЕГДОТ» (или десятое стихотворение) / публикация, предисловие, примечания Т. А. Кушкиной // Введенский А. Всё. — М.: ОГИ, 2013. — С. 732–733.

Васильев И. Е. Русский поэтический авангард XX века. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. — 320 с.

Введенский А. Гость на коне: Избранные произведения. — СПб.: Вита-Нова, 2011. — 496 с.

Введенский А. Всё. — М.: ОГИ, 2013. — 736 с.

Введенский А. Полное собрание произведений: в 2 т. — М.: Гилея, 1993. — Том первый. Произведения 1926–1937. — 287 с.

Гаспаров Б. М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. — М.: НЛЮ, 1996. — 352 с.

Друскин Я. Стадии понимания // «... Собирище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях: в 2-х томах / сост. В. Н. Сажин. — М.: Ладомир, 2000. — Т. 1. — С. 416–428.

Заболоцкий Н. Декларация ОБЭРИУ // Литературные манифесты от символизма до наших дней. — М.: Согласие, 2000. — С. 476–477.

Зорин А. «Бескровная победа» князя Пожарского (События Смутного времени в русской литературе 1806–1807 гг.) // Новое литературное обозрение. — 1999. — № 38. — Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/1999/38/zorin-pr.html> (дата обращения: 21.06.2018).

Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. — М.: РГГУ, 2004. — С. 680.

Кузнецов А. А., Морохин А. В. Историография ополчения Минина и Пожарского в контексте изучения истории Смутного времени. — Н.-Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. — Режим доступа: http://www.unn.ru/books/met_files/opolch.pdf (дата обращения: 20.06.2018).

Липавский Л. С. Разговоры // Введенский А. Всё / сост., подг. текста, вступ. ст., примеч. А. Герасимовой. — М.: ОГИ, 2013. — 736 с.

Лоцилов И. Е. Имя Хлебникова как аргумент в спорах о Заболоцком // Велимир Хлебников в новом тысячелетии. — М.: ИМЛИ РАН, 2012. — С. 253–267.

Мейлах М. Б. «Дверь в поэзию открыта» // Введенский А. И. Полное собрание произведений: в 2 т. — М., 1993. — Т. 1. — С. 25–26.

Панова Л. Г. Мнимое сиротство: Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 608 с.

Степанов Н. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество. — М.: Советский писатель, 1975. — 281 с.

Стояновский М. Ю. «Кузнецик» В. Хлебникова как поэтический манифест // Велимир Хлебников в новом тысячелетии. — М.: ИМЛИ РАН, 2012. — 496 с. — С. 140–148.

REFERENCES

Arenzon E. R. «Khlebnikovskoe» u Mandel'shtama // Velimir Khlebnikov v novom tysyacheletii. — M.: IMLI RAN, 2012. — S. 165–182.

Aleksandr Vvedenskiy. «SEL'SKIY I ZABEL aNEGDOT» (ili desyatoe stikhotvorenie) / publikatsiya, pre-

dislovie, primechaniya T. A. Kukshkinoy // Vvedenskiy A. Vse. — M.: OGI, 2013. — S. 732–733.

Vasil'ev I. E. Russkiy poeticheskiy avangard XX veka. — Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2000. — 320 s.

Vvedenskiy A. Gost' na kone: Izbrannye proizvedeniya. — SPb.: Vita-Nova, 2011. — 496 s.

Vvedenskiy A. Vse. — M.: OGI, 2013. — 736 s.

Vvedenskiy A. Polnoe sobranie proizvedeniy: v 2 t. — M.: Gileya, 1993. — Tom pervyy. Proizvedeniya 1926–1937. — 287 s.

Gasparov B. M. Yazyk. Pamyat'. Obraz. Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya. — M.: NLO, 1996. — 352 s.

Druskin Ya. Stadii ponimaniya // «... Sborishche druzey, ostavlennykh sud'boyu». A. Vvedenskiy, L. Lipavskiy, Ya. Druskin, D. Kharms, N. Oleynikov: «chinari» v tekstakh, dokumentakh i issledovaniyakh: v 2-kh tomakh / sost. V. N. Sazhin. — M.: Ladomir, 2000. — T. 1. — S. 416–428.

Zabolotskiy N. Deklaratsiya OBERIU // Literaturnye manifesty ot simvolizma do nashikh dney. — M.: Soglasie, 2000. — S. 476–477.

Zorin A. «Beskrovnaya pobeda» knyazya Pozharskogo (Sobytiya Smutnogo vremeni v russkoy literature 1806–1807 gg.) // Novoe literaturnoe obozrenie. — 1999. — № 38. — Rezhim dostupa: <http://magazines.russ.ru/nlo/1999/38/zorin-pr.html> (data obrashcheniya: 21.06.2018).

Katsis L. F. Vladimir Mayakovskiy. Poet v intellektual'nom kontekste epokhi. — M.: RGGU, 2004. — S. 680.

Kuznetsov A. A., Morokhin A. V. Istoriografiya opolcheniya Minina i Pozharskogo v kontekste izucheniya istorii Smutnogo vremeni. — N.-Novgorod: Nizhegorodskiy gosudarstvennyy universitet im. N. I. Lobachevskogo. — Rezhim dostupa: http://www.unn.ru/books/met_files/opolch.pdf (data obrashcheniya: 20.06.2018).

Lipavskiy L. S. Razgovory // Vvedenskiy A. Vse / sost., podg. teksta, vstup. st., primech. A. Gerasimovoy. — M.: OGI, 2013. — 736 s.

Loshchilov I. E. Imya Khlebnikova kak argument v sporakh o Zabolotskom // Velimir Khlebnikov v novom tysyacheletii. — M.: IMLI RAN, 2012. — S. 253–267.

Meylakh M. B. «Dver' v poeziyu otкрыta» // Vvedenskiy A. I. Polnoe sobranie proizvedeniy: v 2 t. — M., 1993. — T. 1. — S. 25–26.

Panova L. G. Mnimoe sirotstvo: Khlebnikov i Kharms v kontekste russkogo i evropeyskogo modernizma. — M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2017. — 608 s.

Stepanov N. Velimir Khlebnikov. Zhizn' i tvorchestvo. — M.: Sovetskiy pisatel', 1975. — 281 s.

Stoyanovskiy M. Yu. «Kuznechik» V. Khlebnikova kak poeticheskiy manifest // Velimir Khlebnikov v novom tysyacheletii. — M.: IMLI RAN, 2012. — 496 s. — S. 140–148.

Данные об авторе

Дарья Сергеевна Московская — доктор филологических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора по научной работе, заведующий отделом рукописей, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук (Москва).

Адрес: 121069, Россия, г. Москва, ул. Поварская, 25 а.

E-mail: d.moskovskaya@bk.ru.

About the author

Darya Sergeevna Moskovskaya — Doctor of Philology, Chief Researcher, Deputy Director for Scientific Work, Head of the Manuscript Department, A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences (Moscow).